

Белокурые бестии

Маруся                    Климova                    (Татьяна                    Кондратович)                    2001  
\*\*\*

Костя жил в маленькой комнате в коммуналке на улице Декабристов, под самой крышей. Из одного окна у него был виден золоченый купол Исаакиевского собора, и Маруся раньше любила курить у этого окна и смотреть вниз на прохожих и вдаль, на собор, пока Костя вообще не заколотил это окно фанерой, отчего у него в комнате даже днем царил полумрак. Костя терпеть не мог Исаакиевский собор, всякий раз, когда он проходил мимо собора, он отворачивался и старался не смотреть в его сторону, даже лицо его искажалось какой-то болезненной гримасой. Он считал, и часто говорил об этом Марусе, что Исаакиевский собор является олицетворением мировой пошлости, и, самое главное, примером того, как грубая сила неизменно побеждает в этом мире и подчиняет себе тупую толпу. Костя не видел в этом бессмысленном нагромождении камней никаких следов подлинного величия, величия человеческого духа, которое, по его мнению, должно проявлять себя в творческой воле, направленной на воплощение чистых форм и идей.

Этот собор был воздвигнут французом, присосавшимся к русскому императорскому двору, хотя, конечно, в том, что Николай поручил строить собор в честь победы над Наполеоном именно французам, был какой-то изощренный садизм, это казалось Косте даже остроумным, однако, стоило только взглянуть на портрет Монферрана, у которого, по словам Кости, было типичное лицо обывателя, чтобы понять: человек с таким лицом просто не мог создать ничего великого. К тому же Неф, придворный художник Николая I, автор иконостаса, на досуге тайком рисовал порнографические картинки для коллекции императора, которые теперь хранятся в запасниках Эрмитажа, так что сейчас это уже всем известно... Вот из этого бессмысленного нагромождения человеческих амбиций, глупости, жадности и тупости и возникла эта громада, которая вообще никакого отношения не имеет к православию, а просто вобрала в себя все пороки своего времени. Единственное достоинство собора - это то, что он такой огромный, и у него здоровенный золоченый купол, который видно издалека, даже с другой стороны Невы, а людям больше ничего и не надо, им этого достаточно, собор подавляет их своей величиной, которую они всегда путают с величием - толпу гипнотизируют сила, масштаб, количество золота, потраченного на купол, а красота и эстетика никого не волнуют. И даже если бы рядом с Исаакиевским собором возник другой, таких же размеров, который был бы уже идеалом вкуса и рожден творческой волей настоящего гения, а не этого "предприимчивого завхоза" - так Костя называл Монферрана - то толпа все равно поклонялась бы ему

исключительно из-за его размеров, а красота все равно бы никого не интересовала. Но в конце концов, современных людей можно понять, ведь, живя в своих типовых домах и квартирах, они поневоле попадали под гипнотическое воздействие этого огромного золоченого купола. Конечно, Мопассан бежал от Эйфелевой башни, Гоголю и вообще весь Петербург казался бесконечно скучным, но все это были одиночки, и теперь их поведение кажется бессмысленным донкихотством, безумием, да они и были сумасшедшими, как выяснилось впоследствии. Хотя, с другой стороны, тупое преклонение перед грубой силой рано или поздно выйдет боком всем этим людишкам, и в следующем столетии их всех оттеснят еще дальше на периферию мира, как сейчас выселили на окраины Петербурга, заставят жить в еще более жалких и убогих лачугах, чем теперь, они это вполне заслужили...

От сознания человеческой тупости и равнодушия к красоте Костя часто впадал в бешенство, начинал говорить на повышенных тонах, в его голосе появлялись какие-то неприятные металлические нотки, которые пугали Марусю, к тому же, от спокойных отвлеченных рассуждений он вдруг переключался на нее, так как, по его мнению, она тоже ничего не понимала, как и все вокруг, и в частности, она не понимала того, что говорил ей он, от нее постоянно ускользала сама суть его рассуждений, и он это прекрасно чувствовал, хотя она и молчала и делала вид, что слушает его внимательно. Или же, наоборот, он вдруг обрушивался на нее с обвинениями, что она настоящая дура, так как напрасно старается, просиживая целыми днями в библиотеке над переводами и романами, все равно это никому не нужно, и она могла бы спокойно почти ничего не делать, ибо "всем этим безмозглым идиотам можно всучить любое фуфло"...

В последний раз, когда Маруся зашла к Косте, он особенно на этом настаивал, ведь у нее уже вышло много книг, но она все равно обречена работать на какого-нибудь Васю или Петю, или еще кого-нибудь, неважно на кого, потому что стараться что-то делать, создавать прекрасное, это и значит быть настоящим идиотом, так как это значит совсем ничего не видеть вокруг и не понимать человеческой природы. А тогда все созданное тобой, чем больше ты в него вкладываешь, тем оно хуже и глупее, так как от этого оно невольно становится символом твоей порабощенности миром, который этого не стоит, а заслуживает только презрения. В конце концов, Ницше был прав, считая, что даже само слово "работа" произошло от слова "раб", вот он, Костя, в отличие от Маруси, никогда ничего не записывал, он просто говорил, что ему придет в голову в этот момент, а потом сразу же все забывал - в этом Костя видел свое главное преимущество перед ней...

В последнее время Костя, действительно, нигде не работал, и поэтому у него часто совсем не было денег, и он целыми днями, даже неделями, лежал

на диване, как будто придавленный какой-то невидимой тяжестью. Костя считал, что в духовном мире ничто никуда не может бесследно исчезнуть и раствориться, ибо там тоже действует закон, подобный закону сохранения энергии в мире физическом, и люди, часто сами того не понимая, во все времена вынуждены нести на себе некий незримый груз, тяжесть, что-то вроде шкафа, который они несут, поднимаясь по незримой лестнице - если его держат все, то его вес почти не ощущается, можно его нести с легкостью, шутя, весело переговариваясь между собой, как это и было в начале века, например, но когда все или почти все, кто был с тобой рядом, вдруг этот шкаф отпустят, тогда тот, кому не повезло, и он случайно оказался ближе к центру и не успел тоже вовремя отскочить в сторону, сразу же почувствует, как этот шкаф всей своей тяжестью на него навалился, и уже отойти в сторону, спихнуть с себя этот груз он не сможет, даже если бы очень захотел, так же, как не сможет спихнуть с себя этот шкаф-традицию и все человечество, потому что всегда найдется какой-нибудь дурачок, вроде него, Кости, которому не удалось из-под него увернуться.

И действительно, почти всегда, когда Костя начинал говорить, его голос дрожал от скрытого неимоверного напряжения, он с трудом подбирал слова, и казалось, что эти слова тоже отягощены каким-то невероятным, сверхъестественным смыслом, складывалось даже впечатление, что он имеет дело не со словами, а ворочает огромные тяжелые камни. Но потом, когда ему удавалось выразить свою мысль, довести до конца, он чувствовал неожиданное облегчение и часто, на самом деле, вообще больше никогда не возвращался к теме, которая только что его, вроде бы, так волновала. Жил Костя на небольшую пенсию, которую ему дали после одного из его попаданий в дурдом. Однако к собору, который был у него за заколоченным окном, он возвращался постоянно.

Если бы Маруся со своими жалкими куриными мозгами могла хоть на мгновение себе представить, что здесь, рядом с этим убогим Исаакием, вдруг неожиданно возник другой, идеальный собор, все равно, и там тоже сейчас ходили бы все те же, такие же, как и Маруся, безмозглые экскурсоводы со своими указками и тыкали бы ими в ничего не значащие иконы, пилоны, канделябры, скульптуры, росписи, орнаменты и мозаики, сопровождая свой показ многозначительными словами: "бог", "душа", "гениальность", - такими пустыми и приблизительными, давно утратившими всякий смысл и значившими теперь едва ли не меньше, чем слова "дерьмо" или "презерватив". И самое главное, они вовсе не дурачат толпу, они просто сами ничего не понимают, Костя сделал для себя этот вывод, долгое время наблюдая за той же Марусей. Именно поэтому, отдавая себе отчет в том, как много труда вложил в этот идеальный собор

его создатель, Костя неизбежно, в конце концов, тоже должен был бы проникнуться глубочайшим презрением и отвращением и к этому собору, и к марусиным книгам, невольно ставшим в его глазах символами дурного вкуса и человеческого идиотизма, и прежде всего, именно из-за своего совершенства, свидетельствующего о рабском трудолюбии и лакейской прилежности их творцов. Книги Маруси и ее переводы ведь тоже совсем недавно ему даже нравились, но теперь он чувствовал, что его начинает от них тошнить, потому что его тошнило от ее прилежности и исполнительности.

Таким образом, у Кости получалось, что по-настоящему идеальный собор должен был бы запечатлеть в себе волю его создателя, направленную не в лучшую, а в худшую сторону от этого объекта обывательского преклонения, каковым ныне являлся Исаакий, то есть собор, на который Костя мог бы смотреть без отвращения, должен быть построен как можно хуже, настолько хуже, насколько это себе только можно представить, ибо, только прогуливаясь по собору, в котором действительно, в самом деле, воплотилась бы сегодня очевидная для взгляда посвященного чья-то воля к худшему, можно было по-настоящему осознать и почувствовать, что из себя представляет современный экскурсовод, а Косте уже давно осточертели все эти безмозглые экскурсоводы, которые всех нас повсюду сопровождают и постоянно тычут своими указками во всевозможные картины, дворцы, монументы, исторические примеры, образцы для подражания, эталоны и идеалы... Однако эта воля к худшему пугает современных людей, потому что их пугает этот пронзительный свет, делающий все тайное явным, и прежде всего, их собственное убожество, они предпочитают блуждать в тени совершенства, о котором Костя не только говорить, но даже думать не мог без смеха...

Когда он работал в библиотеке, перед ним лежала огромная гора книг на иностранных языках, в том числе и восточных: арабском, японском, - и он должен был все эти книги старательно активировать, то есть печатать на машинке в ведомости их названия и имена авторов, восточные названия обычно дублировались на английском, так продолжалось довольно долго, ведь Костя проработал в библиотеке целых четыре года, целую вечность, но однажды названия целой стопки японских книг он занес в эту ведомость в виде всевозможных загогулин, скобок, процентов, тире, кавычек и черточек, внешне, по его мнению, все это было очень похоже на иероглифы, он не сомневался, что этого все равно никто не заметит, поэтому он сам специально отнес эту стопку заведующей, положил у нее перед носом и поинтересовался, правильно ли он все сделал, ему это было очень интересно, тем более, что заведующая по образованию была японисткой, и она, естественно, внимательно посмотрев в ведомость, как

он и ожидал, ничего не заметила, а наоборот, радостно и как никогда заискивающе ему закивала, и даже начала его благодарить за проделанную работу, тогда он и запустил в нее ботинком, потому что ему все-таки было очень интересно, заметит она хотя бы это или же нет, ему просто хотелось узнать меру ее идиотизма и порабощенности современной цивилизацией...

И сейчас Костя не сомневался в том, что, если бы вдруг в тот же Исаакий пришел сейчас какой-нибудь указ сверху, что нужно там все иконы и картины перевернуть вверх ногами, то никто из работавших там экскурсоводов этого даже и не заметил, ну, возможно, в первый момент и произошло бы некоторое замешательство, но директор собора на летучке в течение пяти-десяти минут все бы уладил, разъяснил бы своим сотрудникам смысл этого указа, и те после этого снова взяли свои указки и со спокойной совестью продолжили свою просветительскую деятельность, а вскоре они бы и вовсе перестали замечать произошедшую перемену, Костя очень жалел, что у него не было возможности издать такой указ, а то бы он обязательно это сделал...

В это мгновение нить костиных рассуждений, как это часто случалось с Марусей, окончательно от нее ускользнула. Она вспомнила, как их с классом водили в Русский музей, где им неизменно показывали огромную картину Брюллова "Последний день Помпеи". В результате, Маруся долгое время была совершенно уверена, что это лучшая картина всех времен и народов, и в первую очередь эта ее уверенность была основана на огромных размерах картины. Правда, рядом с этой картиной висела такая же картина Федора Бруни "Медный Змий", и Маруся долго их сравнивала, ее даже стали мучить некоторые сомнения, ведь по размерам эта картина ничуть не уступала "Последнему дню Помпеи". Однако, после долгих размышлений она все же вынуждена была согласиться с доводами экскурсовода - ведь картина Брюллова отражала реальные исторические события, а вот по поводу "Медного Змия" Маруся не была в этом вполне уверена. В Русском музее всегда было очень много народу, и маленькие бархатные диванчики, на которых было так удобно сидеть, постоянно были заняты какими-то толстыми тетками, мужиками и их визгливыми беспокойными детьми, которые вскакивали, бегали по залу, путаясь под ногами посетителей. Обычно такие экскурсии проводились после уроков, в конце дня, и Маруся ужасно уставала, она мечтала посидеть, отдохнуть, кроме того, она хотела есть, и доносившиеся из буфета на первом этаже запахи вызвали у нее мечты о котлетах и картофельном пюре. Однажды экскурсовод так долго рассказывала им про картины, что у Маруси внезапно потемнело в глазах, и она грохнулась на пол, когда она очнулась, то увидела склонившиеся над ней обеспокоенные лица учительницы и еще каких-то баб, Марусю подняли с пола и усадили на бархатный диванчик,

предварительно согнав оттуда дряхлого старикана с палкой. После этого Маруся даже во сне увидела землетрясение в Помпее, как будто она тоже находится в самом его центре, все рушится, кругом визжат младенцы и обезумевшие простоволосые полуголые бабы бегают, спасая свои пожитки и детишек, а вокруг бушует пламя. Но теперь бы она на эту картину даже не обратила внимания, и в этом она действительно была согласна с Костей.

Исаакиевский же собор ей нравился, она помнила, как, еще во время учебы в Университете, она выходила курить на набережную и подолгу смотрела на него... И вообще, где бы она ни была, она отовсюду видела купол Исаакиевского собора, силуэт этой золоченой "чернильницы", как называл его один ее знакомый, как-то ее успокаивал, она была уверена, что она у себя дома, и знает здесь каждый угол, каждый проходной двор, каждую подворотню, так что, в случае чего, всегда сумеет спрятаться.

Хорошее знание проходных дворов часто бывает необходимо, марусин школьный приятель, Вова Гольдман, умел им пользоваться. Когда, например, у него не было денег, он вставал на набережной Грибанала так небрежно и ждал - вскоре к нему подходил какой-нибудь лох или даже целая группа и спрашивали, нет ли дури, это было обычное место торговли, и Гольдман, пообещав первоклассной анаши или же сразу несколько чеков по бросовой цене, вел этих людей за собой в один из соседних дворов - ведь при себе дурь держать опасно. Он заранее уже присматривал большую коммуналку, где был черный ход, звонил в один из звонков, которых у двери было не меньше пятнадцати, ему открывал какой-нибудь доходяга, и, не спрашивая к кому он пришел, молча уползал в свой угол, а Гольдман оставался один в длинном темном коридоре. Гольдман брал бабки у заказчиков, просил подождать, закрывал за собой дверь, проходил по темному коридору, выйдя через черный ход, спускался по лестнице и, выйдя с другой стороны через бесконечную анфиладу проходных дворов, убегал далеко-далеко от Грибанала, совсем в другое место, выныривал уже у Эрмитажа, у Невы, а те бакланы ждали его у двери долго-долго, потом начинали звонить, пытались выяснить отношения, но никто из соседей ничего не знал, их посылали на три буквы и грозили сдать в ментовку, а про дурь они спрашивать вообще боялись. Таких коммуналок в Питере было великое множество, особенно в районе Грибанала, что было очень удобно...

